

КЛЕЩ ПОД СЕРДЦЕМ

РАССКАЗ

Ава или три года не косилось уже в саду — май месяц, а заросло все чуть не по пояс, да еще с прошлогодними сухими былками. В деревне кому до этого есть дело: тут всюду заросли, всюду завалы, кругом по-прежнему развал... И вот я начал — с пилой, лопатой и косой. Принял даже *меры предосторожности* — и в кепке, в заправленных в носки штанах и в рваной куртке, хоть и жарко. Но так увлекся — в один бы день все выкорчевать, опилить и первым делом — скосить.

Помню я эту пору, 25 мая, — прибежишь из школы, сразу в сад... А тут — ковром одуванчики, над ними — яблони в цвету, жужжат шмели, порхают стрекозы, бабочки, солнце... А нынче — только чистотел в тени и гнилости да непролазный бурелом в крапиве...

Намахавшись до упаду, я валился с ног. Стараясь соблюсти здешний обычай «лишний раз не лить воду»

(в переполненную канализацию), я только на третьи сутки, ложась спать, обнаружил у себя рядом с левым соском что-то черное, явно торчащее из кожи. Как будто капля железа от сварки или впившаяся стальная стружка. «Упал по пьяни», «подрался», — даже такое на миг мелькнуло, но тут же спохватился, что сколько уж не пробавляюсь ничем подобным.

Два дня я думал, что у меня болит сердце. Что и говорить, писательская жизнь приучила к такому чуть не ежедневному перенапряжению, к бессоннице и постоянной разбитости организма, что «болит сердце» — пусть как-то непривычно, жгуче, — и ладно. И никогда-то я этих клещей не видел...

Подскочил к компу — но Интернет здесь еле брезжит, и пока грузилось, я не вытерпел присутствия чего-то инородного, черного, копошащегося прямо под сердцем. Конечно, оторвал половинку. Эх, надо

было... И тут такое написано! Не только энцефалит всем известный, но и еще четыре не менее опасных недуга. Чего только не сулят: артрит, аритмия, отказ почек и печени, потеря зрения и слуха, паралич нервной системы, даже пневмония с эпилепсией. «Тяжелые формы сейчас встречаются реже», но зато при них «прогноз неблагоприятный», «полного выздоровления не наступает». В пять часов разбудил родителей, отец пошел за машиной в район ехать.

Ночью как раз прошел долгожданный дождь. Грязища, потому в калошах, калоши ледяные, да и так что-то потрясывает. Вот тебе и озноб, до кучи к головной боли и ломоте в мышцах. Диагностировать, пишут, не так просто, это могут быть недели, месяцы и даже годы. Есть еще и латентные, хронические формы. Болезнь может проявить себя даже через десять лет.

За братовой машиной увязались собаки — здоровый, но молодой еще их овчаренок и маленький косолапо-коротколапый Кузька. «До района будут бежать, тридцать километров!» Отец все останавливался и пытался их отогнать. Но наши 10 км до трассы дорожка была похуже самого извилистого серпантина — настоль понатыкано колдобин, и все их скрипучей рулевой обруливать! Даже собакам эти ралли надоели, и они отстали.

А на въезде в поселок какая тоже дорога — как макет лунной поверхности. Когда еще поедут тут небожители — спуститься ведь нужно: на луну, на землю!

И вот часов уже около семи мы входим в «покои», и навстречу...

Это была она — та самая Яна Касаткина! Вот уж где не ожидал ее встретить, хотя, конечно, слышал, что давно уже уехала в райцентр и медсестрой работает. Что муж ее, служивший, кажется, помощником депутата, отправился недавно в места не столь отдаленные. И при этом даже прибавляли: «Какая же Янина шикарная баба-то — во!» — так говорила мама, передавая разговоры в учительской. Вот ведь, помнится, в школе эти учителя ее не дюже жаловали! Но такие теперь настали времена, что и других моих погодков, которые вообще ни в зуб ногой были, приводят в пример, даже цитируют! Все в *новой* жизни устроились — оказывается, не надо было хорошо учиться и прочее, главное — в этом самоустроении. Но Яна и тогда была дерзкой. И тогда была фигуристой. Каштановой шевелюры, конечно, у пионерки не было, и крема этого, делающего кожу лица какой-то влажно-блестящей. Не могу представить ее сорокалетней, для меня ей вечно 14 или 16!.. 39 минус 14 равно 25. Вот для меня ее возраст! А крутые эти бедра, невольно ставшие, наверное, для меня эталоном: выходит Янина к доске — обтягивающая блузка с торчащим из-под нее воротничком, спортивные

штаны весьма облегчающие — ежедневная тогдашняя форма, как только отменили советскую. Стоит, длинная, с внезапно и всем на диво оформившимися юношескими формами, лопочет что-то о равнобедренном треугольнике — и я его вижу! И сзади часто вижу две полусферы, иногда с меридианами от трусов. Но не равны другим те бедра — потом я, конечно, об этом узнал, но — поздно!

И вот она предстала, мелькнула предо мной не в спортивных уже штанах, и даже не в лосинах, что было пиком празднично-дискотечной откровенности, а в чем-то между тем и этим средним, в современных обтягивающих легинсах, хорошо что хоть темных! А сверху толстовка с капюшоном — по провинциальной моде в обтяжку и короткая, с аляповатой надписью на левой... стороне — и впрямь на зависть всей деревне! Хорошо хоть не со стразами, и не Dior или Mocshino. Зато ведь камуфляжная — как я мечтал когда-то, чтоб на ней...

— Проходи, — приглашает она плавным жестом, — присаживайтесь пока тут, на кушетку.

Оказывается, она сама только что пришла и заступает на дежурство.

Посредине этой проходной комнатки, какого-то полукоридора, живописно стоят на старом кафеле женские босоножки — белые, на платформе, с носами в дырочках — неужели ее?

Когда я ее видел в последний раз? Лет двадцать назад. Волосы она тогда сожгла гидроперитом, губы изуродовала темно-бордовой помадой и вообще в своем медучилище отчего-то вмиг растолстела и обабилась.

И теперь вижу — она даже шелку в двери оставила, чтобы я мог с кушетки за ней наблюдать!

Пытаюсь смотреть в другую сторону. Вообще-то, судя по обстановке, весьма суровая, наверное, эта служба. Пара столов с канцелярским хламом. Телевизор в углу, на неплоском экране которого виснет квадратиками изображение — новости Первого канала... Мерзко хлопая дверью на подобающей тугой пружине, заходит типичный молодой полисмен с клеенчато-прозрачной мерзкой папкой. Перешагнув босоножки, подтягивает, чертя по полу, к столу стул с этой стороны, усаживается и что-то достает, подписывает, перебирает... Возникает еще какой-то дядя с такой же папкой, явно административно-хозяйственного школьного вида. И точно: про последний звонок заводит речь! Петровичем зовется — как я и предполагал!

А Яна уже, скрипнув дверкой, является переодетая в халат. Весьма пышна, накрашена, как будто какой-то сон — домашний постельный косплей с подержанным костюмом медсестры!

— Раздевайся, проходи туда. Паспорт и полис, — деловито распоряжается она безо всяких улыбок.

Сегодня именно 25-е, и ей 25! Помнит ли она тот наш последний звонок?!

Раздается звонок телефона. Она подходит. В дверь вваливается несколько человек в похжей на облачение дорожников униформе скорой помощи. Сгружают ящики с крестиками на залежи других ящиков у стены; «как аккумуляторы!» — читаю я мысли отца. Он тоже зашел, тоже поздоровался с Яной, суя мне ненадобную здесь дурацкую пимпочку с бахилами — как будто презерватив! Одна молоденькая врачиха в комбинезоне, сбросив грязные резиновые сапоги, по-домашнему впорхнула в те самые шлепки.

— Где клещи, сколько? — на ходу спросила Яна.

Я, быстро опустив снимаемую майку, показал пальцем, стараясь улыбнуться, но чтоб не выказать всей по-мальчишески нахлынувшей на меня радости.

И как будто только тут я вспомнил, зачем сюда приперся! Домашнее-то оно домашнее, и бедра еще крепче, но челюсти у меня почему-то так и начало сводить, словно оказался голым на нестерпимом морозе. «Боррелиоз, — вспоминаю-шепчу про себя, — йод... антипрен... йоданти...»

Я на кушетке в процедурной комнатке, а она старательно вписывает — все тем же знакомым мне до боли почерком с неправильным наклоном — мои *данные...* Я-то помню ее почерк, а она-то хоть что-то помнит, хоть что-то знает обо мне?

— Вот, угораздило, — наконец-то решаюсь выдать я, чтобы хоть как-то завести разговор, хоть как-то разрядить обстановку.

Если она совсем ничего не скажет, не улыбнется, не вспомнит, то как же мне будет потом.

— Та-ак, — говорит она, встав и выискивая что-то в шкафу.

Я, честно признаться, ожидаю спасительных суперинструментов, но она приступает ко мне с ваткой и спиртом, с обычным, таким же, как у нас дома, пинцетом, потом с иголкой от шприца...

Трястись мне сейчас совсем стыдно. Она наклоняется ко мне, просит меня повернуться на свет обычной настольной лампы и тоже немного *к ней* наклониться. Вдыхаю, и меня так и обдаёт жаром... Ведь никогда и раньше она ко мне не прижималась без одежды, никогда даже не видела...

Я говорю, что один паразит совсем микроскопический.

— Да уж вижу, — кивает она «стереоочками». — Верней, совсем не вижу...

Снова роется в шкафу и достает оттуда некое приспособление — дугу с очками-окулярами. Чуть ли не рукавом и моей ваткой протирает их от пыли и прилаживает вокруг лба на свои кудри.

— Та-ак, — снова протягивает она, делая что-то с иголкой у меня за плечом, так что мне сбоку не видно.

Я думаю все, что какое тут у нее может быть мастерство — это же Янина, та самая, по кличке Баламут! Ее любимое слово — «бли-ин», а группа — «Кар-мэн»!

Ведь сам таким же пинцетом драл первого клеща, который больше, и что? Такой же, Янка, блин, пинцет! Полночи с мамой мучились, пытаюсь вытянуть с помощью вакуума отрезанным шприцем, — все напрасно, только образовались «засосы», как будто боррелиозные круги с интернетовских фото. Нужно специальное такое приспособленье — миниатюрный пластиковый гвоздодер, вернее, клещедер, поди, в любой аптеке продается, но где ж тут — кругом Россия, у нас такие дороги, такая медицина — ведь этого не отнять, ни на что не променять и, верно, вовек уже не переделать. В избу горящую — пожалуйста, вперед, а клещей иголкой будем тыкать!

Смотрю — ого! — уже поддела, воздела, словно хромосому увеличенную, к тусклому свету лампы. И хоть не об босоножку обшмыгнула, а в пробирку, как и положено. Икры у нее мощные, и, кажется, все с теми же гусиными крапинками и расчесами от сухости.

Принялась за большую рану, за остатки большого прямо под сердцем. Терпи, говорит, и я с готовностью отвечаю, что совсем не больно, но где ж такими клещами кузнечными клеща подцепишь.

Долго роется в шкафу, достает другой пинцет, завернутый в бумагу. И уже без всякой обработки норovit мне вогнать его в грудь — он даже ржавый! Я не дергаюсь, не шелохнусь.

Но она лишь примеривала. Этот еще хуже!

— Надо пойти в реанимацию, — говорит она, — там спросить, может, есть что получше. Должен быть такой пинцетик — «москит» называется.

— А этот точно крокодил! — пытаюсь пошутить.

Наконец-то улыбнулась. Все та же непередаваемая стяжка на верхней губе, те же непередаваемо торчащие клычки, но зубы уж темнее, с трещинами.

Я вдруг подумал, что любой мужик отписал бы нечто подобное. Да и откаблучивают, наверное, еще ядреней, ей не привыкать. Хотя вот те два товарища — Петрович и мент — уж точно как два клеща на теле живой жизни, все из нее высосали, даже всем доступные — *бесплатные!* — русские словеса. И клещей она, поди, снимает пачками, без всяких сердечных заноз.

— В юморе теперь тебе не откажешь, в школе я че-то не замечала, — говорит она.

— Да уж какой тут юмор...

— Да как же, читала ведь твои книжки. (Я так и вздрогнул.) Особенно последнюю, про деревню, про молодость... нашу... (Все же *нашу!* Но на «молодости» так и вздохнула, как о чем-то столетне далеком.) Где-то тут даже... — Она начала выдвигать ящики стола и перекладывать в них тетради и книжки, — Ленка,

напарница, щас читает. Уж третий месяц, правда. Тяжело у нее идет. Донцова — вот это ее автор. Так-с...

Мне захотелось спросить, а как тебе, но по опыту едва ли не каждый писатель знает, что подобные вопросы ни к чему хорошему не приводят, только ставят в идиотское положение. «Читала — и что?» — вот что ответит, пусть и в других выражениях. Для писателя это, конечно, полный провал, но я-то внутренне все же за что-то цеплялся, как этот клещ. Пусть и не били себя в грудь, восклицая: «Ваша книга изменила всю мою жизнь!» — как показывают в попсовых фильмах или как постоянно писали читатели Солженицыну, но фраза «это вообще не с чем сравнить» была для меня привычной, правда, в начале 2000-х, теперь как-то народ стал более сдержанный или же я стал так писать...

Худо-бедно Инет этот и до деревни докатился, а с ним и слух, что написал я книжку о родном селе, меня взрастившем, да непростую — пасквиль! Не так давно, мне писали, движение-брожение целое меж аборигенами возникло, разбор полетов и прототипов персонажей. Родителям (от коих мне уже до этого досталось) стали предъявлять претензии, кое-кто даже разговаривать перестал, а мне грозили виртуально: «Пусть только приедет!», «В суд подадим!» Так что я особо и не хотел нарываться, в минет бы этот Инет! Донцова! Москил!

Вместо книжки или диалогов о судьбе писателя она просто вышла.

Третий пинцет оказался «из той же серии». Теперь ей пришлось ковырять иглой наживую, орудуя под стук сердца. «Ой!» — это она ойкает, когда думает, что сильно уколола. Я же отважно советую не жалеть и уж все же выковырнуть мерзко торчащую где-то в глубине расковырянной ранки какую-то черную лапку, словно засохший хвостик от смородиновой ягодки.

Но без пинцета, конечно, ничего не вышло. Пришла еще другая медсестра, и меня попросили посидеть в коридоре, пока в восемь часов не пойдет на работу хирург, может, он даст нормальный инструмент.

Я решил, что можно уже написать жене, наверное, она уже встала. Но так далеко она была сейчас от меня — почти две тыщи километров, да дело и не в этом...

Как только он вошел, я сразу понял, что это он. Лысый, весь пружинистый и самоуверенный, напоминающий кого-то из нынешних телеперсонажей — блестящий костюм, так и распираемый перекаченным торсом.

— Скидovай! — приказал он на народном диалекте, и я скинул майку прямо в коридоре.

Он тут же схватил меня за сосок, надавил ногтями. Ручищи не пианиста, ногти цепкие, показалось, что грязные! Янина с напарницей объясняли ситуацию.

— Давай сюда! — И меня быстрее подтолкнули опять в комнату с лампой. — Ну-кошь, что за астроблябия?! — Он повозился с прибором «виртуальной реальности», приладил его на лысый череп, опять схватил рукой за болячку и сдавил ногтями.

— До свадьбы заживет. Рассекать, что ли. После сгноем выйдет. Пишите как обычно: «клещ раздроблен». Гуляй, хлопец, наша Янка свободна! — И умыл руки, пошел, наверное, их умыть перед работой.

Добрak еще, а в городе иной раз в неотложке как со скотиной обращаются. На меня нахлынула опять нервозность: остается передняя часть членистоногого, самая опасная, поскольку когда он издыхает, впрыскивает слюну. Читал, что даже от так называемого стерильного клеща могут быть очень серьезные последствия.

На клочочке бумажки величиной в визитку она мне пишет: *доксциклин по 1 кап. 6 дн.*

Приписки нет. Телефончика или сердечка. Хотя — вот он, сотовый!..

— По капле? — шучу я, но она серьезна.

Про йодантипирин и цефтриаксон она не слышала. Инфекциониста в больнице нет. Теперь надо кровь взять. Наверное, только на боррелиоз, и копеечный антибиотик только от него. Хотя, бывает, когда он еще с энцефалитом зараз — такая зараза.

Не спав, по сути, двое суток, я весь ослаб, но что тут делать — приходится, стиснув зубы в некоем подобии улыбки, смотреть, как густая, словно вишневое варенье, моя собственная кровь вливается в...

...Как вампир, надо мной усмежается... своей черневшей помадой с остатками ее на клычках... Из черного провала сует мне что-то — как факел со смолой, мохнато-черную клешню эту паучью — прямо в сердце!

...Всего лишь ватку с нашатырем. Но отшатнулся даже: боль на выходе из провала сознания ужалила адская — боль души, жуткий, мистический, запредельный страх. Но тут же вспыхнуло, мелькнуло что-то ярко-светлое — знакомое, родное лицо — и она схватила это черное жало, вырвала, оттолкнула суккуба. И я узнал ее: это Настя, моя жена.

ЧЕРТИ НА ТРАССЕ

РАССКАЗ

*И вроде жив и здоров,
И вроде жить не тужить,
Так откуда ж взялась печаль?..*

В. Р. Цой

Литератором я не стал. И вы тоже наверняка не станете, поэтому и учите литературу, математику и прочую шушеру с пятого на десятое. Вообще не учите. Русский требуется хоть для общения. Английский?.. Англичанином я тоже не стал... Физика — она с трактором тесно связана, ее надо понимать и применять. А трактор — вещь в хозяйстве незаменимая, не роскошь, а средство производства, его нужно уметь собрать-разобрать с закрытыми глазами, или, как говорится, в полевых условиях. Чему я вас и учу. Вы же запустили это дело. Как будто механизация — последний предмет, мол, мы другие можем зазубрить, когда прижмут, а до этого руки не доходят. А я вам говорю: литератором я не стал и стихи не пишу — касаюсь с ними только когда провозглашаю: «Давай-ка выпьем, где же кружка?»» — так говаривал часто Василий Петрович на уроках единственного предмета, который он преподавал, именовавшегося всеми «трактором» (сей курс профобучения есть только в последних классах сельских школ, причем специально для будущих механизаторов мужского пола).

Василию Петровичу, которого все заглазно звали просто Василием, а выпускники и отдельные ученики — пригласно, но без всякого бахвальства, было лет двадцать восемь, но по виду намного больше. Я никогда не интересовался сельхозтехникой, но на его уроки ходил с удовольствием: мне было интересно его слушать, он умел рассказывать просто о сложных, сухих вещах, снабжая рассказы жизненными подробностями, различными курьезами и какими-то добрыми шутками; объяснив параграф, он спрашивал, понятно ли, если нет, то разъяснял все снова, прерывался, задавал вопросы по мелочи или про частный опыт, опять все разъяснял... Другим учителям такая самодеятельная методика не очень нравилась, но куда больше им не нравилось, что Василий пил. Пристрастие это в принципе никак не сказывалось на его работе (он был еще и завхозом школы), кроме того единственного случая, когда он развалил на тракторе школьный сарай, правда, иной раз он не являлся на занятия или, поехав в город на школьной машине, приезжал без прав, и еще лучше — чаще всего он пил с учениками, потому что пил много и обычно ночью, когда работал наш клуб.

Как раз когда я учился в десятом, Василий перестал пить, держался — только по большим делам и праздникам. Но через год, в конце ноября, запил снова. Говорили, что, возвращаясь из города, он попал в аварию, скорее всего, врезался: его старенький ГАЗ-52, который он звал полуторкой, пришлось выбросить, но сам Василий, по счастью, только сломал ключицу — вернувшись из больницы через месяц, он и запил по-прежнему.

Был понедельник, и клуб не работал. Вся братва собралась у памятника солдату-земляку, находившемуся за клубом и отделенному от домов непролазной полосой из корявых кленов, — тут мы, ученики, пили, даже если клуб был открыт. На каменной платформе примостились ребята в кругу, в центре сидел Фестиваль и разносил самым старшим. Я подошел, оздоровал¹ с каждого за руку, выложил три яблока, вскоре мне налили самогона, я выпил и сидел молча вне кучки, так как пить более не хотел, смотря в абсолютно черное пространство вокруг, — было тихо и морозно. Еще я все смотрел на Фестиваля: он пил уже три дня, тоже только вернувшись из больницы, и два раза я слышал забавный рассказ-притчу о двух братьях в его личном исполнении, но я тогда был сильно пьян и не помню ее содержания и сути (по-моему, я даже читал ее раньше), но помню реакцию «толпы» — молчали и чуть ли не плакали. Нет, *от них* я этого не ожидал! Однако же Фестиваль был как будто весел сегодня, подсел ко мне, спросив закурить (раньше он не курил), потом спросил, как дела. Мы сидели молча, курили — иногда бывали такие вот моменты — я и он: меня считали самым умным из братвы, а Фестиваль в свои двадцать лет был так крут, что его боялся каждый в селе и во всех окрестных селах и деревнях, — гора мускулов, сама жестокость и наглость, но вместе с тем он

¹ Оздоровать, оздороваться — по очереди, обойдя всех по кругу, поздороваться с каждым за руку (*диал.*). Далее также используются диалектизмы: *может* (может), *рогими* (рогами), *щекотил* (щекотал), *округ* (вокруг), *черти надсели* (привязались; устойчивое выражение «как черти надсели!» в значении «напасть»), *частить* (говорить часто, неразборчиво), *чаврить* (болеть, быть в болезненном, вялом состоянии), *затресса* (затресся), *заваливая* (заваливаясь), *прасенок* («поросенок», на шоферском жаргоне дифференциал), *ополоз* (ополз) и др.

был «нормальным парнем», иногда даже приятным в общении и даже чем-то странным. Таким образом, нас сближало это противопоставление, больше общего меж нами не было, если не считать того, что оба мы родились в один день — 23 февраля, но с разницей в два года, и еще мне нравилась его сестра, из-за чего я часто попадал ему под руку или под ноги. Месяца четыре назад он подрался со своим братом (что у них было делом обычным), и брат серьезно порезал его ножом; отбыв в реанимации и в больнице, он опять умудрился попасть под нож в драке, едва залечил рану и вот недавно — опять... Все эти четыре месяца он пил (даже в больнице, в хирургии!), лез во все драки, пару раз его забирали, потом вроде остепенился, но спорт и проч. бросил, стал курить. Я все молчал, он предложил выпить. Я взялся за холодный стакан — закуска уже кончилась, и никто не рвался к нему — никаких оригинальных тостов я цитировать не собирался...

Тут подошел еще один человек с забинтованным плечом, все засмеялись, а я даже ступешался — учитель ведь, сегодня днем только был его первый урок после лечения. Василий всех оздоровал левой рукой, поздоровался и со мной, сказав еще: «И ты здесь, Алексей». Выпив полстакана, он начал было рассказывать про больницу, но запнувшись на первой детали — что-то о койках с сетками, — сразу сбился на свою службу в армии: мол, был у них какой-то смотр, начальство велело срочно прибрать территорию — подмести листья с асфальта и покрасить забор, а была осень, и шел дождь, листья подмели, но они опадали вновь, что раздражало начальство, а деревянный забор красить в дождь невозможно, но армия есть армия: пришлось лезть на двадцатиметровые вязы отрясать листву и красить забор «группами по три»: один держит зонт, другой сушит паяльной лампой, третий — собственно красит. Все смеялись (особенно Фестиваль, который всегда смеялся «от души», как-то по-особому навзрыд и повторяя по-своему смешные фразы, что очень зарачительно), но ждали, видимо, не этого рассказа.

Проглотив еще полстакана, Василий сам догадался, согласившись:

— Ладно, не смотрите так... Длинный больно рассказ, попытаюсь сократить... тем паче я находился в довольно пьяном виде... а вообще вы скажете: беляк или мохть приснилось, однако ж... впрочем, лучше слушайте...

Он взобрался повыше — я подумал, что сейчас грянут аплодисменты. Да, рассказывать Василий умел мастерски, из самого заурядного случая он делал, так сказать, динамический и сатирический эпос; я запомнил его рассказ почти дословно. По ходу дела мы выпивали, вначале все давились от смеха, то, не выдержав, ржали на все село, перебивали, задавали вопросы, уточняли всяческие подробности, удивля-

лись — деревенские мужики очень любят такие именно рассказы, не простой разговор за бутылкой, а *рассказы* — сначала я *расскажу*, потом ты и т. д.

— Возвращался я из города на своей полutorке, как говорится, с дела. Проторчал я там почти что дотемна — сами понимаете, пока получил, пока подписал... вот... и на приличных рогах ехал по трассе...

Сумерки спустились внезапно, я еду, и кажется мне, что не просто вечереет, а прямо сами глаза застилают серый туман, отдельные пылинки которого — как пыль в луче солнца — изредка даже искрятся... На мгновение вообще потемнело в глазах, все как провалилось... Я испугался: расшибусь впотьмах, даже лбом нажал сигнал. А когда этот пылевой туман чуть расплылся, я немного в сознание пришел, думаю: уже в кювете (руль-то я отпустил!). Глянул: черт. Сидит на руле и рулит. А руки мои, как тряпичные, потерялись в тряпках. Я их вынул и вцепился в баранку так, что чуть не отломил роговуху, ей-богу! Оказалось, что при этом я прищемил чертов хвост и заметил это только тогда, когда черт копытцами нажал бибикалку. Откуда-то подул ветер, принесший в себе тот же искрящийся порошок, сыпавшийся теперь сверху вместе с чертями. Еще два черта — такие маленькие, поросшие шерстью иль щетиной, с розовой свиной хрючкой и с поросычьими же ушами, с хрупкими, как у ягнят, копытцами, рогими и хвостом во весь чертов рост — опустились ко мне на руль. Главное дело, я не удивлялся — ехал себе спокойно, рассматривал их как инфузорию — так-то ее мать вместе со школой! — в микроскоп. Насчет клыков сказать не могу; борода была у одного по виду уже старого, начавшего в некоторых местах седесть; глаза мелкие, показалось, зеленые с красным зрачками; зубы длинные, дряхлые, у пенсионного — вставные.

Все было нормально, но вдруг враги начали чудить: когда я поворачивал в одну, они, все трое, тянули руль в другую, при этом сидя на нем самом и опираясь как бы только о воздух — по законам механики, вы знаете, ребята, это невозможно... А я (нет чтоб уступить!) принялся состязаться с ними в силе. Моя бедная полutorка стала выписывать крендели, шарахаясь от одной обочины к другой и мешая встречным. Один резвый жигуленок даже слетел с трассы и заехал чуть ли не до лесопосадок. Я спяну не заметил, как черти расплодились везде вокруг; один чертенок — враг народа — сидел у меня на плече и щекотил хвостом в ухе. Два неумных беса достали из сумки колбасу и драли ее и, как говорится, жрали — вместо того чтоб взять тут же лежавший ножик и отрезать. Кто-то включил дворники, и теперь на них катались черти. Другие, довольные своей тупой изобретательностью, качались на вымпелах и прочих побрякушках, о которых я пожалел, что повесил. Вся эта братия и отродь скакала и летала у меня перед глазами, как маргышки, отвлекая и вызывая

головокружение; многие не стеснялись и раз другой прогуляться по моей голове. Баранку я уже не держал, так как друзья-прохвосты до того увеличились в числе и силе, что я с ними тягаться не стал. На мою правую ногу, которая была на педали газа, взгромоздился жирный, как тещин кот, чертяра из отряда свинообразных. Он так ловко и усиленно давил, что нога моя сделалась как протезная. Засим соплеменники (ихние) пытались отломить рычаг, что производило эффект автоматического переключения передач, и я, конечно, был рад, что еду не прилагая никаких усилий. Естественно, радость долго не продлилась: менты!..

Маленький, в шапке, в валенках с калошами и красный от мороза, меня остановил сотрудник ГАИ. Затормозил я, правда, с трудом. Черти сразу прыгнули и скопились все у пассажирского места внизу, в ногах, чтоб их не было видать. Я говорю: «Гражданин инспектор, извините за выражение... в смысле... как бы выразиться... черти надсели. Замучили: не дают уп-правлять транспортным средством». А он на ответ: «Разберемся, — говорит, — с чертями, прежде всего прошу ваши документы». Я отдал. Не подумав. Появился второй, тоже в валенках, и начал что-то частить, смеясь через каждое слово. Я уловил почему-то только: «Эти черти оттуда... ха-ха!.. откуда и джинн Али-буба». Мне не до шуточек, тем паче под мухой; короче, я не понял фразы, но на всякий случай запомнил (алкоголь развивает, обостряет память). Теперь я уже смекнул и констатирую, что джинны поголовно бывают в лампах, нежели в тех знакомых нам всем емкостях. (К слову, ребята, раз мы из паяльной лампы самогон пили — запах бензина, может, даже его остатки только придали приятности, и, как говорится в книжках, эффект аффекта всерьез и надолго...) Вот... ну я от них не отстал (да и как же тут отстаешь — шутка дело: черти мерещатся!), обращаюсь: «Взгляните, говорю, на эту нечисть, заберите их к себе в будку». Тогда оба гаишника на меня так посмотрели, как будто у меня на голове росла елка, а Дед Мороз со Снегуркой водили хоровод вокруг ней. Этот маленький потребовал путевой лист; я сказал: не знаю где, черти унесли — к ним и обращайтесь. Он, как дельный, обошел машину и полез в пассажирскую дверь. Как только он занес ногу, чтобы поставить ее в кабину, я крикнул: «Тише! Чертей раздавишь! Не видишь что ли?!» Озадаченный сотрудник посмотрел внимательно на чертей, при этом покрутил пальцем у виска, но забрался на сиденье, не коснувшись пола, и сидел, держа ноги на весу. Он заметил путевку, прижатую магнитом: «А говоришь: черти взяли!» Я, конечно, не стал спорить с дальтоником, слепым (Пью) иль вообще недалеким человеком, как говорят вам по истории, убогим, но про себя заметил: «А что же ты уголок держишь — пресс качаешь?!» Посмотрев бумагу и поню-

хав ее, он заявил, что скоро придет собственнo спец по нечистой силе, а мне сейчас следует подъехать чуть поближе к их будочке и подождать его.

Так и сделал. Однако ждать пришлось довольно долго, и я сразу же задремал. Проснулся, по всей видимости, минут через сорок — сухой как лист, сушняк же меня и долбил пустой бутылкой по челдану. Чуть не забыл! Подъехал майор на «восьмерке», он меня и разбудил. И эти два лилипута подошли: «Ну, гражданин Песков, как будем вопрос с чертями решать?» Я замялся немного спросонья, с похмелья, удивляюсь: «С какими частями?! С запасными?» Тут началось неописуемое: втирали очки. Представители власти, стыдно сказать. Ну ничего не поделаешь, пришлось принимать к сведению их бредовые факты. Вытерли очки, набредили кошелки две и взвалили их на мой и без того... горб. Я уж и сам усумнился — вроде во сне какая-то катавасия представлялась... бывает ведь так называемое дежавю, когда просыпаешься, ничего не помнишь, а потом тебе, допустим, говорят что-нибудь или просто случайно посмотришь и видишь тот самый «кадр» (как в кино), и ты сразу как бы вспоминаешь, что это и снилось... Но их в принципе заинтересовало не это, а сами понимаете... ну конечно, и путевка, а там и накладные... В итоге преподнесли на блюдечке с голубой и золотой каемочкой изрядный штраф и несколько баллов, которые для шофера как замена колеса без домкрата. Мне в таком агрегатном состоянии было все равно, лишь бы в окно не дуло и во рту не сохло (это я к тому, что дуло и сохло). Я им говорю, мол, мои золотые, разберемся мирно-полюбовно, как всегда: лучше я переплачу, но баллы оставьте себе. У них рука набита. Баллы на погонах. Полез я в карман. Надеюсь там обнаружить семьдесят тысяч двухсотками школьных и своих кровных восемь. Нету. Я так голову и склонил, а на полу — две банкноты и резинка от бигудей, коей они были стянуты. Деньги оказались, как говорится грязными: истоптаны какими-то странными следами, как будто маленькими копытцами...

Майор поднес мне лично легендарную трубку, замерил. Показал два удостоверения: одно сотрудника, второе — врача-психотерапевта какой-то спецклиники МВД. Я оторопел. Он еще крайне небрежно ощупал мои гланды, рассмотрел с фонариком зрачки и вдобавок тяпнул какой-то монтировкой по коленке.

Меня, ребята, страх изъел. И не напрасно — разговор был таков: вы подлежите лечению в психиатрической клинике (освидетельствование уже окончено). Беляк плюс еще какая-то фигня. *Типичный случай.* Майор, почесав руки и, кажется, потеряв, обратился к подчиненным с просьбой заключить мои вибрирующие конечности в наручники для соблюдения общественной безопасности, на что менарь только пожал плечами и молча указал пальцем себе на глотку. Дол-

жно быть, из них сделали ошейник служебной овчарке, как тут не догадаться (а из нас всегда делают только дураков, только мы не всегда это чуем — мы же не доги, как говорят ваши англичанины). Пришлось им вытянуть из штанов ремень. Мой.

Один представил мне бумагу, где якобы с моих собственных слов было записано о нападении нечистой силы. В конце стояла моя длинная роспись, подписи каких-то свидетелей, печать и прочее. Второй ученик Шерлока Холмса и доктора Ватсона возился с двумя купюрами, измеряя на них следы и, по-моему, даже снимая «отпечатки пальцев».

Опять не подумав, не постеснявшись и не испугавшись (потому что это мне надоело и вообще стало нестерпимо физически), я буквально-таки взмолился: «М-мужики... господа, господа офицеры! Я вас очень прошу... ну вы же понимаете... как бы это сказать...» — «Тридцать пять кусков». — «У меня их нет с собой». — «Ознакомился с протоколом? Согласен со всем?» — «Давайте, ребята, сделаем так: я оставлю у вас права, поеду домой, а завтра и привезу сюда». — «Хы-хи, извини, мужик, не годится. Мы на то и оперативники... Нам тоже надо (мне прямо показалось, что он хотел сказать «опохмелиться»)... жить. Поехали, гражданин...»

Меня как громом ударило. Погодите, говорю, у меня тут рядом, в поселке Луговое, кум живет — два кэмэ — поеду одолжу, лады? Лады, говорят, давай газуй — мне даже не верится. «Че встал, кум, тебе же сказали: ла-ды!»

Я хотел было выписать рифму, но так как не литератор, промолчал.

Освободившись от оков, я завел полуторку и был таков. Не помню, кажется, в дороге мне пришли в голову две мысли. Одна из них — что смываться бесполезно: дороже встанет. Чуть не проскочил поворот на грунтовку, я уж и забыл, когда последний раз ездил по ней в Луговое. Машина ехала как бы сама собой, но потом, на ямах и ухабах, меня сильно протрясло и пришлось взять бразды управления в свои преступные руки — а они почти что не слушались, я рулил по этой дороге как на автогонках, так раззадорился, что даже весь вспотел...

Калитка почему-то была открыта и от ветра билась, расшатывая всю серую, дряхлую оградку. Из крошечного окна ослепила лампочка. Кум! Любил я его! И сейчас люблю... Я буквально влетел в незапертую дверь: кум со своей бабкой сидел за столом, просматривали какой-то сериал. Постарел, дурная голова, полысел, посерел. Бабка, в очках, клевала последними двумя зубами семечки, усыпая шкурками газету, готов спорить, что «Правду», еще из старых запасов. Дед как всегда пытался что-то прочесть в таком положении, сдвигая продукты производства

на стол, а бабка, естественно, ворчала, ругалась: «Во приспичило!» или «А то ты уж не читайши газету энту столетнюю! Все умныва из себе строит — смотри вон луччи телевизир!» Рады были мне знакомые с детства стены с заржавевшими обоями и картинками на них, все было совсем по-старому... Даже в одно мгновение — сразу, как я только вошел, я хотел кувыркнуться и прыгнуть на развалившийся диван, но за окном (на той стенке одно это маленькое окошко) кипела, как говорится, ночь, и мне в ней еще вариться не провариться... Кошачьи глаза уже не маячили на часах, но кот как будто ухмыльнулся посредством какой-то паутины и смотрел на нас, неумелых (уже потом начинается демонстрация могущества, а сразу не знаешь, как и повернуться).

Тонну угля с полуторки разгрузить легче, чем пытаться отказать от угощения моего кума Груни, состоявшего единственно из крупно нарезанного сала с луком и хлебом, выслушать справедливые упреки в долгом непосещении и в конце концов с неохотой опохмелиться (что смеетесь, ребята? — ладно, ладно, может, и с охотой). Как говорит кум, процесс противен — результат приятен. Потом еще больших усилий потребовалось, чтоб убедить кума поверить мне на слово (давай ему бумажку из милиции!) и выдать мне же и опять под мое же честное слово, что не пропью тридцать пять тысяч, заработанных им, оказывается, еще в грозные и голодные годы войны, в тылу, но в поте лица, а теперь-то уж получаемых в виде пенсии, которая, по его подсчетам, является денежным эквивалентом килограмму хлеба, килограмму масла да еще килограмму колбасы (последний килограмм он добавил совсем нехотя — видно было, что расчеты были произведены по заказу бабки, сам-то он всю жизнь все в литрах измеряет, даже то, что, на первый взгляд, никак нельзя).

Сотрудники были довольны сверх нормы, и, выказав мне сердечную благодарность и искреннюю признательность, на радостях предложили сообразить на троих — на них. Как знаете, денег у меня не водилось, но стаж имелся, поэтому меня и откомандировали за водкой, всучив «пока» семнадцать тысяч, только полчаса назад бывшими полфунтом колбасы в кармане у кума. Я очень невнятно возразил, что, может, майор удостоит съездить самолично или по крайней мере предоставит авто — мой рыдван только заводить минут двадцать... На что они, так же невнятно, пояснили, что майор уже «находится на отдыхе» и они без меня тоже уже отдохнули бутылочку. Короче, дело к ночи, а мне домой надо — не тут же ночевать! Велели ехать обратно в город, там, в ларьке, купить водки повкуснее, где на этикетке Пьер Смурнофф мигает третьим глазом, как светофор после третьей.

Однако я их надежд не оправдал, а именно: снова навестил кума, вернул ему семнадцать тонн, присово-

купили к ним найденные в бардачке черные от мазута 500 рублей и заверив, что так же скоро верну и вторую половину, а сейчас имею другую просьбу. Дело в том, ребята, что любимый мой кум работал на спиртзаводе и ушел в отставку, то есть на пенсию, всего шесть лет назад и не по собственному желанию, поэтому по сей день имел запас, как он говорил, лучшей жидкости на свете. Этот «золотой запас» содержался им якобы ради собственных похорон, которые всю жизнь, видимо, хотел приблизить, непрерывно пополняя и опустошая свой клад — каждый литр, каждая капля проходила не только через его руки, но и через него самого, через все внутренности, включая даже что-то наподобие... души. Он, можно сказать, мечтал об этих похоронах как о свадьбе какой-нибудь — как будто думал: вот тогда нажрюсь!

Я, как видите, не поскупился — чего не скажешь о куме: еле выпросил! Налил две пластмассовые бутылки, большую, полуторалитровую — разбавил, маленькую — нет, и еще я прихватил родные пол-литра самогону.

Приехал я, изобразив чрезвычайную досаду и одновременно склонив голову, как провинившийся первоклассник, как будто мне и самому досадно и перед ними стыдно. Страждущие удивились этому (как, впрочем, и раннему моему возвращению), я объяснил, что водки не достал, что пригородный магазин закрылся, а в центр, к ларькам, я не поехал. Они уж совсем осунулись и намеревались со мной что-то сотворить, но я молча вынул из-за пазухи пол-литра. Внезапность фокуса произвела должный эффект: выхватив сосуд, они скрылись в будочке (поднести гонцу не собирались). Выждав минуты полторы — пили втроем, — я беру спирт и захожу к ним с удивлением на лице и хриплым возгласом типа: «Дурак! Как же я забыл?! Из головы вон...» ставлю на стол две емкости. К счастью, я ошибся не намного (опыт!) — возымела действие физическая алчная жажда, когда все остальное по барабану. Концессионеры не выпускали из рук большую бутылку, так что я, тоже не противник выведения из организма радионуклидов, вынужден был воспользоваться малой. Однако, дружно не докушав своей, они изъяли у меня мою — мою, как говорится, маленькую, — тем паче заметив, что я использовал ее не так охотно и умело, как следовало бы.

У каждого «изумленное состояние» проявляется по-разному; например, у моих новых знакомых оно развилось обыкновенно и переросло в состояние изумленной радости (но это, вы знаете, первый этап). Они как бы удивлялись, созерцая меня и одновременно называя старым корешом, обнимая при этом в соответствии с названием. Я не противился (скорешиться с властями — дело благородное) и пил вместе с ними, и пел, шатался и приплясывал даже с удоволь-

ствием... Что за прелесть сей настоящий спирт спустя минут сорок после приятия!

Не знаю, как могло случиться, что в бутылке осталась почти половина «огненной воды», и тогда старшина Степанов, мой матерый кореш, выскочил из кельи на проезжую часть с бутылкой в руке и тормознул первую попавшуюся машину.

Из обветренного, как говорят шофера, «запорожца» высунулся довольно свежий дед (лет шестидесяти пяти) и, видя упорно молчащего сотрудника, нехотя, но с подобающим почтением осведомился: «А в чем, собственно, дело?» На что блюститель порядка на дорогах ответил нагловатым смехом и, зачем-то поздоровавшись за руку с водителем, спросил стакан — причем не посредством слова, как заведено, а суя деду в нос бутылку, а впоследствии сего хватая его за горло. Вскоре дед разыскал запыленный пережиток застоя и, предварительно обтерев его жеваными платком, протянул гаишнику. Тот налил и вернул деду: «Каа спир... тя-ни!» В этот момент обратила на себя внимание бабка, явно его заслуживающая даже впотьмах и издалека визуальными определенными полуторacentнеровыми габаритами. «Я те выпью! Токо попробуй! Нам еще девяносто километров ехать, а время — ночь! А ты, сопливый, — обратилась она к развевающемуся на ветру постовому, — не отвлекай, не то жаловаться будим!» Неустойчивый постовой неучтиво проигнорировал это замечание с угрозой, дед же, серьезно кивнув на соблазнителя, сразу проявил мужскую солидарность и не стал задерживать производство.

Занюхав приготовленными правами, пенсионер, не обращая внимания на возгласы спутницы жизни, доложил, что едет на аменины и везет три литра самогона. Почтенная его супруга засим с трудом вылезла из салона (машина стала выше сантиметров на десять), что-то запричитала, упоминая «как был алкаш, так и остался», и пошла по проезжей части по направлению кто ее знает куда. Степанов вяло пытался ее возвратит, посылая, по всей видимости, воздушные поцелуи, но дед сказал: черт с ней идет, потом догоню, а то машине тяжело.

Дед бросил машину на дороге, взял только банку и гармонь. Веселье пошло новым ходом при участии бывшего слесаря первого разряда Ивана Пименовича, который оказался незаурядным гармонистом, выпивхой, как говорят бабы, плясуном и даже бабником — то и дело твердил, старая, что надо бы пригласить веселенькую, молоденькую, хорошенькую, стройненькую, худенькую, но статненькую, длинноноженькую... и далее с подробностями...

Сотрудники не стали расстраивать нервы, без того потрепанные на работе, и пригрозили, как могли, что сейчас съездят за бабкой. Оскорбленный пенсионер умолк, а потом они с майором еще дернули и, обняв-

шись, сидя на полу в углу, как коты, забасили вдруг «Вни-и-и-из по ма-ату-ушш-ке...», причем под «матушкой», судя по жестам и мимике, дед имел в виду свой идеал женской красоты и материнства, а майор — «Волгу», но не водянистую, как в песне и на карте, а которую ему на днях должны дать. Майор, к сожалению, так и задремал на месте происшествия.

Пивший меньше всех рядовой, которого все весьма пренебрежительно обзывали Коля с особым ударением на «о», «поехал в город» — залез в майорову «восьмерку» и застыл там за рулем, вернее, на руле, а опосля и под ним. Тогда старшина Степанов в поисках новых кадров опять выполоз на дорогу. Как на зло, никто не ехал. Неподъемные ноги неосторожно ломали, разбивали лед в лужах, осколки, белые на свету фонаря, зеркальные, звенели по черному, окаменевшему пространству, сделанному из замерзшей грязи. Он вдруг остановился и замер, согнулся, рассматривая чего-то под ногами, я подумал, что он тоже увидел чертей в земле. Я сидел в постовой будке, привалившись к боковому маленькому окну, и смотрел на дорогу (вообще я все отсюда и наблюдал); вскоре я до того увлекся, вернее, забылся, что выдал лбом стекло, оно глухо раскололось, и я, высунув голову, увидел затхлые тучи наверху, очень высоко, небольшие снежинки на луне и услышал какое-то странное позвякивание — как будто эхо звона расколотого стекла — ветер гнал по земле тонкие льдинки с разбитых луж...

Бедному работодателю Степе приходилось изредка приплясывать и оглашать на всю пустую округу, что

Глеб Жеглов и Володя Шарапов
Заслужили в боях ордена.

А потом еще громче, что, де,

После мирного дня трудового
Спи спокойно, родная страна!

Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. От ветра, который то вроде прекращался совсем, то налетал очень сильно, у Степанова стучали зубы, он скалился, плевался, бил пяткой калоша в хрустящие болотца, весь выгибался, как парус, от порывов ветра. Только он вроде уже собирался уйти, как ветер, как нарочно, унимался. Я же думал: вот бы он отъехал, а я бы уехал.

Как черепаха, еле ползло какое-то транспортное средство, разгребая темноту и мерзлоту одной фарой. При остановке оказалось, что это явление трактора МТЗ-80 с прицепом, нагруженным сеном. Тракторист вылез то ли сонный, то ли чавряющий, весь грязный как черт. «Вы же м-меня уже седня останавливали,

когда я туда ехал... Ну... за сеном. Я вам с-сказал... док-кументов нету. Две версты — че возить... С колхоза ж еду... и до колхоза... “Завет Деникина” я, а ездил в “План ГОЭРЛО”...»

Сотрудник пытался изобразить самую вежливость, то есть одновременно почти плюнул сквозь зубы и почти спросил, перебив: «Изини, ка-к завет?..» — «Деникина, эт генерал ихний... Название такое... наеми... наименование... А фара — я уже вам разъяснял — мне не нужна: еду почти по обочине, левая горит — габаритеры означены!..»

Степан Степанов чуть пошатывался, когда дул ветер, и слушал внимательно, но почему-то смотрел обоими глазами на свой красный фосфорирующий нос. Несколько раз он пытался что-то сказать, но выдавливал только невнятные гласные звуки и шепотом добавлял выражение, похожее на нецензурное. Наконец он нашел испытанный способ коммуникабельности: указал знаком. «Хто я? Ды ты што, начальник! Я н-на работи... Две недели уже... ни-ни... Пряма с-сохну...»

Старшина опять сказал «му», или даже «у» просто, икнул и, передернувшись, как пораженный током от впившегося иглой в позвоночник пронизывающего ветра, пригласил следовать за ним, наверное, представив себя Шварценеггером.

Мы были рады познакомиться с трактористом Федей, приведшим старшину. Он был тоже рад. Настолько, что когда ему вместо ожидаемой трубки предложили выпить, упал на колени, подполз к Одиссееву корешу (он так и назывался: Мент — единственное, что помню из мифологии) и стал целовать его валенки, приговаривая: «Голька с вашего раз-зрешения...» Степанов на это подавал отрицательные знаки, пытаясь сказать, что он не Толька, а Степа, что он и не Колька, и показывал в сторону «восьмерки», Федя не понимал и не знал, как быть: вроде как предлагают выпить, а разрешения не дают.

Взявшись за стакан, Федя весь затресся и долго не мог поднести его к заливной горловине. Когда же он «заправился», то вновь взялся благодарить и в знак признательности принес из трактора половину завалюлой булки, купленной им четыре дня назад по случаю выпивки при поездке на базу за какими-то болтами (в процессе чего его оштрафовали на две зарплаты за оторванный прасенок).

Вновь пошла гармонь и клятвы о дружбе до гроба. И пили. Вскоре остался последний стакан. Все мы дружно чересчур набрались (а некоторые уже и по второму разу) и предлагали вкусить его Феде. Но он отказывался, находя это хамством.

Говорят, все хорошее быстро кончается. Менты (один, вернее) стали разгонять (по привычке). Старшину заполнило «буйное изумление». Дед быстро

остепенелись, пожал всем руки раза по три (два раза с закрытыми глазами) и поковылял к своей «экономичной модели», сию заводил полчаса. Сложнее дело обстояло с красноносым, как сам Степанов, дядей Федей: ни за что не хотел убраться и даже предлагал пропить колхозное сено (и так взятое в долг!). Как только ветеран тронулся, Степанов, словно жуя тесто, передал по радиации, что в красном «запоре» номер такой-то едет пьяный дед по направлению туда-то. «А меня не заловишь, падла! Два километра осталось!» — проорал колхозник Федя, только когда окончательно вполз в коллективно заведенную сельхозмашину, однако, тронувшись, трактор прыгнул и заглох. Старшина пытался выковырнуть бывшего друга из кабины, дабы выяснить, кто это «пало» (для этого он ругался на чем свет стоит, но как бы на древнерусском языке и корябал, как котенок, тракторную дверь, которая была почему-то без ручки и открывалась только изнутри).

Я наблюдал за всем, развалившись на стуле-«диване» из окна дежурки. В процессе пьянства никто не только не заметил отсутствия стекла в малом сегменте, но и, думаю, никто не дифференцировал самое окно от стены. Показался друг Степанов, распахнул дверь и держался за ручку минут десять, тщетно пытаюсь или не пытаюсь отпустить ее, раскорячиваясь в разные стороны. Наконец, захлопнув дверь, упал — вернее, повис, — так и не расставшись с злополучной ручкой. Его чудо-шапка, доселе неведомо как удерживавшаяся на левом красном ухе, упала на пол в грязь. И сам он вскоре ополоз, жестикулировал, но я притворился спящим. Все, все готовы. Я встал, подкрался кое-как к столу, выдвинул верхний ящик и обнаружил три важных объекта: семьдесят тысяч, перетянутые резинкой, восемнадцать кумовы, и свои кровные восемь и присовоккупленные к ним еще две. Век свободы не видать! Нервно-торопливо, переминаясь с ноги на ногу как хромым, я добрался до машины. Минут десять вжикал зажиганием, руки потели на морозе, нога скользила по педали газа...

Поехал! Оглядываюсь — вроде никого. Теперь я даже был доволен процентов на пятьдесят пять, что вся чертовщина осталась позади, а деньги грели карман. Остальные сорок пять процентов моих эмоций и ощущений составляли неясные тревожные вспышки-воспоминания. Они как бы сами собой... алкоголь только обостряет все, помогает вспомнить, систематизировать, подвести все к одному целому...

Стекла запотели; снаружи, высоко впереди, как будто сеялся вместе со снежинками ледяной свет от очищенной луны; шквальный ветер гудел в каждой щелке моей полторки. Откуда ни возьмись полетел в лоб мокрый снег, бившийся в стекло, как тучные ночные бабочки. Стекла сделались непрозрачными с обеих сторон; дворники не справлялись; я почувство-

вал себя в тесном батискафе, погруженном в темную глубину холодных вод. Мертвая ледяная вода давила на хрупкие иллюминаторы, желая зажать меня своими липкими жидкостными щупальцами и вытащить в гнилой мрак, где скопились фосфорирующие придонные существа, какие-то нереально огромные омерзительные твари, щелкающие уже наточенными клешнями и разевающими игольчатые пасти. Вот что, образно говоря, мне представлялось.

Давило все: семья и работа, начальство и дети, растянутые цены и долгие вечера, и стаканы, которым счету уже нет... Каждая мелочь, теперь я понял, имела значение, яркой искрой отлетала вместе с другими на задворки сознания, сея неуютное, повседневное, не оставляющее ни на мгновение мелочное зло, и теперь только вспыхивала адским пламенем. Синее пламя «Ниагарского спиртопада», как пошутила однажды Наденька, но... Конечно, я жадно поглощаю этот поток, если подсчитать, сколько выпивается за жизнь, как раз и получится... И все равно каждый день жрешь так — до последнего, до упора, — как будто боишься пропустить хоть каплю из этого потока. Ну и что — все, поголовно *все* вокруг поглощают его, наверное, думая, что смогут им потушить возгорание, загасить заразу, но лишь распалая пожар внутри — как карбид тушить водой...

Я не знаю, чего мне не хватает. По человеческим меркам я имею все: жена, двое детей, непыльная работа, даже интересная, двойной оклад, квартира, жигуль-«копейка», двор со скотиной, 981 доллар на счету в банке на черный день, служебное авто, трактор, видак, японский телевизор, кухонный комбайн, тостер и кофемолка, игра «Денди», бар из четырех бутылок дорогого красного вина и полпачки «Мальборо» в кармане. Этого не много, но достаточно, и обладать этим мне не противно. Я не знаю, что можно придумать еще! Дворцы и яхты — не для меня, я привык к своему.

Непонятная туманно-зеленая тоска является мне в пьяных снах: противная до тошноты, маленькая, тощая девчужка, похожая на мою бабушку в молодости, только какая-то полупрозрачная, мутная, как в кино — проекция света... Ночь, темь, я просыпаюсь — один — где я есть, где Надька? (А может, я вообще сплю еще?) Появляется, мерцает на стенке она, подходит к постели, вся клубится, колышется, протягивает стеклянные холодные руки ко мне, обнимает бесчувственно, ломает ребра, затекает внутрь, добирается до сердца, до мозга, до всех внутренностей, до всего! Дальше все как бы чернеет изнутри... Я не могу! Я, взрослый, сильный мужик, пью и валяюсь, ухожу от действительности, глотая, как факир, синее пламя... Мне чего-то не хватает. Не хватает самого главного... как воздуха...

Когда я учился в школе — в конце 60-х, — я был свободен и свободен, дышал полной грудью, любил и пел (вот вы сразу смеетесь, переиначиваете «пил» — потому что у вас *только это на уме!*)... да! — хоть жились небогато, несладко... тяжело нам бывало с матерью, а тут еще сестры малые... Народу было — тьма! Не школа — бочка иваси... В футбол гоняли, в волейбол, в лапту... Праздник — всех заставляют в нацкостюмы убираться — кто хохол, кто армян... я таджиком был все время... Смешно! И попробуй не нарядись! Танцы — нас, малых, не допускали, смотришь в окно и рад. А сейчас — он и курит при тебе, и шатается... и посылает весь мир... Когда вкалывал — пот ручьем (опять гыгыкаете, э-эх!), а все равно не задыхался пылью... и в армии меня не смогли задавить... Наоборот — лучшие годы. Все прошло... и жизнь прошла... жисть... Тоска по прошлому, по советским временам и порядкам? Возрастная депрессия? Нет! Мне еще не сорок лет, вся жизнь, интересная и новая, или хоть даже и уже привычная, впереди, а она... прошла... это уже длится долго... Может, вы, ребята, которых я учил разуму, найдете выход, постройте мост через синий «спиртопад» и будете жить, как живут люди в книжках и фильмах. А я не могу, не умею... да и кого не спрошу, никто не ответит, как жить и любить жизнь, работу, жену... я же их люблю... Мне говорят: мол, так и так, и все ништяк, или вообще как на дурака смотрят, а стоит с этим человеком, извините, обхерачиться, как он сам начинает плакать и клясть свою судьбу... И тем более все эти практические советы, аутотренинг и прочая рекламная дребедень... Это пусть америкашки с белыми зубами, небритыми бородами и длинными волосами, которые пьют, как пидоры, в одиночку, этим лечатся — я и так здоров! Картинки из книжки, пародия, абстракция — что такое это счастье?! Покажите мне этого человека! Богато и красиво жить, когда все катится к черту? Вы скажете: опять минутное настроение, просто временный депресняк, а так все в порядке... Да вы посмотрите на себя, на своих родителей, младших братьев и старших сестер в институтах — кто вы такие, чем вы живете? Тем, чем и я, кровные мои братья, собратья по несчастью, ублюдки... Есть ли на свете человек, который может тебя понять? Мужики, а грех ли вино и наркотики или они есть универсальное средство для выживания? Над этими вопросами билась ученые, всякие философы и литераторы... вас же учат... но этому не учат в школах... субъект не объект... каждый решает сам... каждый за себя... но литератором я, как вы знаете, не стал, а стал «трактором» (раньше даже имя такое давали: Трактор!)... ну и все — что, я плохо преподаю?.. если я железки люблю...

Вы скажете, просто запутались вы, Василий Петрович, запутался ты, Василий, все проходит, а ты спасовал... подожди, расслабься, выпей да пропись... Нету! А-ха! Не-ту! Не на того напали!

Я ехал домой. Черные нити веток повисли на синих палках оледенелых тополей. Наши поля, напивавшиеся за лето кровью и потом, теперь в свете луны белели костями погибших и чернели крупными грачами, примерзшими к своей добыче, — из снега торчали черные куски пахоты... Я засматривался на эти картины через боковое окно, в котором было прозрачное место, и видел совсем странную, неизвестную картину — в отличие от того, что привык видеть днем, — какую-то сказочную, что ли, ненастоящую, даже страшно стало: куда я попал, автоматически давил на газ, голова кружилась... Вдруг меня поразил неведомый доселе страх при самом главном вопросе: бох. Я вспомнил прочтенную недавно в газете статью — что-то о связи аффектных состояний (особенно плюс алкоголь или наркотик) с потусторонним миром... впрочем, опять демагогия или надувательство нашего брата... пишут только те, кому делать нечего... вспомнил про чертей — самому смешно — может, этот майор меня загипнотизировал?.. Или я спал, или блячка прибегает уже — допился... Непонятно...

Незаметно я задремал. Наверное, через мгновение меня разбудил звуковой сигнал и, кажется, спящий свет фар. На руле сидел горбоносый черт (прямо лицо в лицо, тьфу!) с колодой карт: «Тяни, Вася, быстрее, и ты узнаешь, что мы тебе приготовили!» Клянусь, что это было наяву. В других обстоятельствах я б посмеялся такой дешевости!

Тут я потужил, что не стал литератором.

Все молчали, даже поняв, что рассказ окончен. Фестиваль первый, разогнувшись с корточек, дотрогнулся до бутылки, налил полный граненый учителю — последнее, что оставалось. Василий Петрович выпил его, как воду, и только потом поморщился — нет, осканился! — а именно тогда, когда малой Швырок спросил: «А че дальше-то было?» Никто не ответил. Василий поставил стакан и ушел. Все молчали, некоторые сказали «Совсем рехнулся» и даже заржали. Я хотел уйти домой или пойти за Василием, но не смог, сидел и слушал пошлейшую матерщину, разросшуюся, как сорняк, на основе его рассказа, и даже сам изредка подвывал. Я почувствовал тогда, что я являюсь одним из них, хотя представлял, что дифференциация давно свершилась, а это лишь крикливые слова... Вечером его жена с детьми перешла к бабке, сказав, что больше с ним жить не будет, а сам Василий, волочась домой, уснул в стогу у Семеныча, а стог сгорел.